

Это случилось 19 ноября, в уже упомянутой ма-стерской Головина в Мариинском театре. На полу были разостланы декорации к «Орфею», все, кто собирался позировать, были в сборе. Гумилев стоял с Блоком на одном конце залы, Волошин с Маковским, все еще пребывающим в неведении по поводу мистификации Дмитриевой, — на другом. Внизу Шаляпин пел «Заклинание цветов»... Волошин дал ему допеть и направился к Гумилеву. Что было дальше, рассказывает он сам:

Я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос И. Ф. Анненского: «Достоевский прав, звук пощечины — действительно мокрый». Гумилев отшатнулся от меня и сказал: «Ты мне за это ответишь» (мы с ним не были на «ты»). Мне хотелось сказать: «Николай Степанович, это не брудершафт». Но я тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос: «Вы поняли?» (То есть: поняли ли — за что?) Он ответил: «Понял»¹.

Маковский передает эту сцену несколько по-другому:

Волошин казался взволнованным, не разжимал рта и только посапывал. Вдруг, поравнявшись с Гумилевым, не произнеся ни слова, он размахнулся и изо всей силы ударил его по лицу могучей своей дланью. Сразу побавровела правая щека Гумилева и глаз припух. Он бросился было на обидчика с кулаками. Но его оттащили — не допускать же рукопашной между хилым Николаем Степановичем и таким силачом, как Волошин! Да это и не могло быть ответом на тяжкое оскорбление.

Вызов на поединок произошел тут же. Секретарь редакции Евгений Александрович Зноско-Боровский (известный шахматист) согласился быть секундантом Гумилева.

— Вы недовольны мною? — спросил Волошин, заметив, что меня покорила грубая расправа его с человеком, который до того считался ему приятелем.

— Вы слишком великолепны физически, Максимилиан Александрович, чтобы наносить удары с такой силой. В этих случаях достаточно ведь символического жеста...

Силач смутился, пробормотал сконфуженно:

¹ Волошин М. А. История Черубины. С. 283.

— Да, я не соразмерил...¹

Существует и еще одна реплика — Алексея Толстого, будущего секунданта Волошина, реплика строгая и лаконичная:

В Мариинском театре, наверху, в огромной, как площадь, мастерской Головина, в половине одиннадцатого, когда под колосниками, в черной пропасти сцены, раздавались звуки «Орфея», произошла тяжелая сцена в двух шагах от меня: поэт В<олошин>, бросившись к Гумилеву, оскорбил его. К ним подбежали Анненский, Головин, В. Иванов. Но Гумилев, прямой, весь напряженный, заложив руки за спину и стиснув их, уже овладел собою. Здесь же он вызвал В<олошина> на дуэль².

М. Кузмин, правда, пишет, что и в пятницу 20-го «Макс еще не получал оф<ициального> вызова», но это уже детали. Главное — то, что буквально в день ссоры Волошина и Гумилева симпатии разделяются, и разделяются вовсе не поровну. Это видно по тому, как различно проводят участники последние сутки перед дуэлью. Гумилева не отпускают домой, в Царское, он остается у Вячеслава Иванова, «окруженный трагической нежностью башни»; в Башню же торопится пристыженный Гюнтер с заявлениями, что-де он всецело на Колиной стороне; Гумилев диктует условия поединка, требуя стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников... Одним словом, его дни наполнены сдержанной героикой романтизма и заботой друзей. Ну а что же Волошин?

А Волошин в эти последние сутки спешно улаживает финансовые дела и торопится — нет, не обратиться к друзьям за поддержкой, но самому поддержать самых близких и адресовать им слова благодарности:

Дорогая Александра Михайловна!

Вчера я послал в уплату долга и в погашенье 10 р<ублей>. У меня действительно не было ничего до этого дня. Как мне благодарить Вас за Вашу внимательность? Я сегодня же перевозжу Вам 6 рублей. Простите, что сейчас не могу написать ничего о себе. <...> Сию минуту все обстоятельства нашей общей жизни осложнились, но на этих днях<x> жду благотельного кризиса и тогда напишу во всех подробностях ретроспективно. Лиля пишет гениальные стихи. Аморя ее страшно любит. До свиданья, милая, заботливая, боль-

ная Александ<ра> Мих<айловна>. На будущей неделе буду платить свои письменные долги...³

Письмо датировано 21 ноября, на следующий день — поединок. Как видим, хотя Волошин и не верит, что дуэль может окончиться его гибелью (и тем более гибелью Гумилева), все его чувства обострены, а все его мысли — не о себе, но о Лиле. Лилю любит Аморя (значит, развод с Аморей и брак с Лилей — дело пусть не решенное, но кажущееся таким близким!). Лилия пишет гениальные стихи (значит, все это сума-шествование, вся эта петербургская чертовня завязались не зря!). Лилия, Лилия, Лилия... Не очень понятно, знала ли она о дуэли — и если да (могла ли не знать, если все в Башне и вокруг только об этом и говорили?), то как реагировала? Остановить дуэлянтов она не пыталась, в «Аполлоне» не появлялась, с общими знакомыми не контактировала. Сохранилась ее краткая записка к Вячеславу Иванову — записка, фактически обрывающая ее связи с Башней и показывающая, что Лилия довольно трезво воспринимала происходящее, понимая, сколь немного значит она для обитателей Башни сама по себе: «Мне очень жаль, Вячеслав Иванович, что после всего происшедшего я не могу бывать в Вашем доме. Но думаю, что вы не будете жалеть об этом»⁴. Собственно, ее свидетельства о тех днях — не более чем пара кратких записок: к Иванову, к Вере, к Петровой, которой она наконец признается, что «очень перемучилась за эти дни, да и за все время»⁵... Очевидно, единственное, что она могла делать, — быть рядом с Волошиным и ожидать исхода дуэли.

Дуэль между тем откладывалась, так как между секундантами шли напряженные переговоры: князь Шервашидзе и граф Толстой просили у Кузмина и Зноско-Боровского поменять смертоубийственные условия дуэли на более мягкие и стреляться не на пяти, а хотя бы на пятнадцати шагах. Секунданты как люди здравомыслящие согласились, однако надо было уговорить Гумилева. На это, как пишет Алексей Толстой, был потрачен еще день.

Как признавали свидетели, именно толстовское описание дуэли было самым исчерпывающим и точным. Обратимся к нему.

Наконец, на рассвете третьего дня, наш автомобиль выехал за город по направлению к Новой Деревне.

³ Письмо М. А. Волошина к А. М. Петровой от 21 ноября 1909 года. С. 199–200.

⁴ Собрание М. А. Торбин. Дом-музей Марины Цветаевой. КП 1531/302. Л. 1.

⁵ Письмо Е. И. Дмитриевой к А. М. Петровой от 22 ноября 1909 года // Черубина де Габриак. Из мира уйти неразгаданной... С. 46.

¹ Маковский С. К. Портреты современников. М.: XXI век — Согласие. С. 363.

² Толстой А. Н. Гумилев // Последние новости. Париж. 1921. № 467. С. 2.

Дул мокрый морской ветер, и вдоль дороги свистели и мотались голые вербы. За городом мы нагнали автомобиль противников, застрявший в снегу. Мы позвали дворников с лопатами, и все, общими усилиями, выставили машину из сугроба. Гумилев, спокойный и серьезный, заложив руки в карманы, следил за нашей работой, стоя в стороне.

Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль. Мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко... Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным черным силуэтом, различимый во мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, — взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью смотрит на В., стоявшего, расставив ноги, без шапки.

Передав второй пистолет В., я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я попросил приготовиться и начал громко считать: «Раз, два»... (Кузмин, не в силах стоять, сел на снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком...) «Три!» — крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет и раздался выстрел.

Хотя эту дуэль и называют второй дуэлью на Черной речке, имея в виду поединок Пушкина и Дантеса, и, возможно, некоторые «онегинские» ассоциации (ср.: «За ближний ствол / Становится Гильо смущенный...» — «Кузмин, не в силах стоять, сел на снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком»), на память приходит другой поединок — Пьера Безухова с Долоховым. С одной стороны — Волошин: толстый, мощный, добродушный, обладающий редкостной физической силой, к тому же масон. С другой — Гумилев: хладнокровный, надменный, прославившийся романтическим ранним цинизмом, да и реплики его лирического героя: «Я нигде не встретил дамы — / той, чьи взоры непреклонны», — вполне в стиле Долохова, помнится, говорившего, что женщин, кроме продажных тварей — графинь или кухарок, все равно, — он не встречал еще: «Я не встречал еще той небесной чистоты, преданности, которых я ищу в женщине. Ежели бы я нашел такую женщину, я бы жизнь отдал за нее...» (Кстати, это гумилевское стихотворение: «Он поклялся в строгом храме, / Перед статуей мадонны, / Что он будет верен даме — / Той, чьи взоры непреклонны...» было написано вскоре после дуэли. Не вслед ли напрашивающимся ассоциациям?) С одной стороны,

«ах, да, ужасно глупо...». С другой — «никаких извинений, ничего решительно». Волошин, как и Безухов, не умеет стрелять и боится, «по своему неумению», попасть в Гумилева. Гумилев, куда более искушенный в военном искусстве, настроен непримиримо. Саспенс нарастает. Окружающим и друзьям, приехавшим на щекочущее нервы театральное действие, становится не по себе: пожалуй, прав предусмотрительный Толстой, тайком подсыпавший в пистолеты тройную порцию пороха — чтобы уменьшить отдачу!

Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: «Я требую, чтобы этот господин стрелял...» В. проговорил в волнении: «У меня была осечка». «Пускай он стреляет во второй раз, — крикнул опять Гумилев, — я требую этого...» В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было... Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожавшей руки пистолет и, уже в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять. «Я требую третьего выстрела», — упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям.

К счастью, в отличие от дуэли Безухова с Долоховым, на поединке Волошина с Гумилевым не было пролито крови. И вот уже по возвращении домой Кузмин с явным облегчением протоколирует:

Граф распорядился на славу, противники стояли живописные, с длинными пистолетами в вытянутых руках. Когда грянул выстрел, они стояли целы; у Макса — осечка. Еще выстрел, еще осечка. Дуэль прекратили. Покатали назад. Бежа <так!> с револьверным ящиком, я упал и отшиб себе грудь. Застрали в сугробе. Кажется, записали номер. Назад ехали веселее, хотя Коля загрустил о безрезультатности дуэли. Дома не спали, волнуясь. Беседовали. Грудь болела, прилег спать. <...> Отлично помню длинный огонь выстрела в полумраке утра.

Да, несмотря на «безрезультатность» (интересно, какого именно результата ожидал Гумилев? По свидетельству сочувствующих, сам он стрелял в воздух; впрочем, те же сочувствующие упрекали Волошина в попытке выстрелить в Гумилева в упор), дуэль произвела на всех ее участников сильное впечатление. Однако если Гумилев и вправду мог думать о том, чтобы кровью смыть нанесенное ему оскорбление, то на что надеялся и рассчитывал явно выглядевший агрессором и зачинщиком Макс?

Ясное дело — стреляясь, он вовсе не собирался сражать Гумилева. («Он промахнулся. У меня была

оощка. Надо ли говорить, что я целил в воздух», — сообщает он Александре Петровой в первом «последуальном» письме.) Скорее всего, помимо естественного желания защитить честь возлюбленной, им руководила двойная — вдвойне утопическая и безумная — цель: во-первых, вывести Лию на мысль, что между любовью (Волошин) и долгом (Васильев) следует выбрать любовь; во-вторых, как уже говорилось, — перевести буффонаду и фарс вокруг имени Лили в регистр высокой трагедии.

В итоге Волошину не удастся ни первое, ни второе.

Высокой трагедии не получилось. Газеты откликнулись на дуэль в пародийном и карикатурном ключе; тут, конечно, сыграла свою комическую роль злосчастная галоша, забытая в снегу одним из секундантов, а именно — Зноско-Боровским, которую, впрочем, тут же приписали Максу, припомнив его давнее прозвище — Вакс Калошин. Галоша и сделалась подлинной героиней всех репортажей — а их о дуэли было немало! Одни «Биржевые ведомости» дали три материала, в первом, от 23 ноября, — вкратце информируя читателей о поединке между «художественными» (и даже «модернистскими») критиками, а уж во втором и третьем — подробно прохаживаясь в фельетонах насчет нелепости поединка, после которого на снегу остается не окровавленный труп, а потерянная галоша:

*Жили-были два писателя, два поэта, два критика,
и вдруг вспыхнули друг к другу ненавистью лютою, непримиримою.*

*Тесно им стало жить на белом свете и решили, что
надо им друг друга истребить. <...>*

*...Когда дым рассеялся, на снегу вместо двух поэтов
осталась одна только галоша.*

*Говорят, что страха полицейского ради и Волошин,
и Гумилев притворяются живыми и показывают вид,
что с ними ничего не произошло.*

Никто, конечно, такому вздору не поверит.

*Разве могут остаться живыми люди, от которых
осталась одна галоша.*

*В надгробных речах необходимо будет подчеркнуть
скромность безвременно погибших писателей.*

*Люди, которые владеют пером, мыслью и словом,
настолько скромного мнения о своих силах, что пред-
почитают этому своему естественному оружию глу-
пую стрельбу из пистолетов.*

*Граждане великой республики слова — правда, ма-
ленькие, незаметные граждане — берут на себя чужие
роли, наряжаются в доспехи чужих варварских племен
и смело идут на всеобщее посмешище.*

*И как апофеоз, как неизменный чеховский штрих —
эта старая калоша, оставленная на поле битвы.*

*Какой необыкновенный символизм, какой необыч-
ный стиль в этой старой галоше.*

*Господина Гумилева, каюсь, я совершенно не знал
при жизни. Только из «Биржевки» я узнал, что был та-
кой писатель земли русской. А теперь его имя и его па-
мять для меня нераздельно связаны с этой проклятой
галошей...*

Это из фельетона А. Колосова (псевдоним А. Е. Зарина, актуального публициста). А вот эпиграмма А. Измайлова, над которой в конце ноября 1909 года покатывался весь Петербург:

*На поединке встарь лилася кровь рекой,
Иной и жизнь свою терял, коль был поплоше,
На поле чести нынешний герой
Теряет лишь... галоши.*

То есть Волошин, конечно, отвлек внимание от Лилиной скомпрометированной фигуры, но самого себя выставил, как бывало, на общечитательское посмешище. Иначе как Ваксом Калошиным его теперь никто и не называл.